

[Л.1]

Мои воспоминания о Германии.

Н.Г. Липа.

Прежде чем приступить к написанию этих воспоминаний, я вспомнил о прошлом из жизни.

Август 1941 года, за Днестром, где-то у Смелы идут жестокие бои. Немецкие «рамы» постоянно снуют над притихшими селами в Приднестровье. Все тревожные и более тревожные вести приносят радио и газеты.

Сентябрь 1941 г. Еще 22 августа немцы захватили Черкассы, а 19 сентября заняли Ирклиев, Золотоношу и окрестные села... Где-то в степи под Оржицей еще гремят бои... и откатываются на восток все дальше и дальше.

Октябрь 1941 г. – первый месяц немецкого господства в селе. Первые расстрелы и грабежи.

Ноябрь 1941 г. Указы. Приказы. Украинские националисты вылезли из своих нор и зашипели как гадюки повсюду. Будни этого времени проведены в Черкассах.

Декабрь 1941 года. Проведено в Черкассах. 18.12. за водонапорной башней произошел расстрел «евреев».

Январь 1942 г. Днестр стал. Где-то под Лозовой гремят бои. Я вернулся в родное село.

Февраль 1942 г. Немецкие власти налагают большие налоги на население. Начало мобилизации рабочей силы в Германию.

Март 1942 г. События приобретают угрожающий характер. Из Киевской области выгонят первые эшелоны в Германию.

[Л.2] Апрель 1942 года. Народверье сизокрылой ласточкой пришла весна, а с ней и все заботы жизни.

Май 1942 г. 19 мая ночью арестовывают меня и друзей в степи и под конвоем увозят в Лубны. А оттуда в телятнике отправляют в Германию.

Полтавская область, Ирклковский р-н, с. Краснохуженцы – Липа Николай Григорьевич.

28 мая 1942 года, после Люблинских бань и несчастий в дороге, наконец-то привезли на биржу труда (невольничий рынок) в Дрездене... После многих процедур комиссии нас отбирают группой в 25 человек и трактором перевозят на место работы. Первого июня я выхожу первый раз на работу к бауэру (хозяину), купившему меня на рынке. Семья хозяина состояла из трех человек, старший кривой со свирепым лицом немец-хозяин, и толстая ленивая как перекупка хозяйка. Урод арийского помета сын Густав и бедная бесталанная девушка из К. Подольщины, работающая у хозяев... Спасибо – если бы собаки не съели их – дали позавтракать каким-то пойлом, такого, которым мама при ткани полотна нити шлихтует. День пролетел на разных работах, а вечером разговорились:

–

[Л.3] – Николай.

–

– Украина. и т.д.

Ева, так звали невольницу, очень хорошая и говорливая девушка, она, скосив лукавым глазом, сказала: «Не показывай, что понимаешь по-немецки». «Хорошо», – ответил я. Но не выдержал и на следующее утро я спросил хозяина – сколько он должен платить мне. Хозяин очень удивился и разгневавшись отрубил: «Я купил тебя за 30 марок, ты сперва отработай, а потом будешь хлопотать о жалованье».

– Хорошие отработки, – возмутился я и задумался. Мысли поплыли роем в юношеской голове. Прошло еще два-три дня, и раз вечером я сел после работы и хотел что-то записать в блокнот, но старая немка что-то заметила: она выдрала из рук записную книжку и бросила в конюшню под ноги коню: вскричал я, и как обожженный бросился под ноги коню. Старуха, собака, преградила дорогу, я, не замечая и не соображая, что делаю, сбил ведьмовское кодро с ног и выхватил из-под ног у лошади загрязненный блокнот. На крик старой немки, хромя на ногу, выскочил как Адрий из конопли с косой в руках беззубый мапо и бросился ко мне. Зря – в руках оказались вилы, тройчатые вилы. Мгновение и коса вылетела из рук Макса, а там с поля возвращалась Ева с Густавом. Шамкая беззубым ртом [Л.4] хозяин ударил меня в бок, я с силой размахнул вилами и ударил хозяина по голове... Он пошел в угол, закрыл лицо руками и волчьим голосом завыл. Вой его еще больше разозлил меня и удар за ударом, забыв обо всем на свете, сыпались на хозяйские плечи... Но, что это... Чьи-то сильные руки схватили меня сзади, кто-то ударил в грудь, в голову... В глазах потемнело и я тяжело осел в конюшне. Только потом пришел в себя, шевельнул руками и открыл глаза, возле меня стояло двое полицейских с покрасневшими от напряжения мордами, поодаль валялись вилы... на пороге стояла испуганная Ева, а у дома кричала хозяйка. Этот же Ганс спокойно, словно ничего не случилось, распрягал волов. От удара в бок я приподнялся и только теперь чувствовал, как болит и ноет от побоев спина и голова. Руки были закованы в железо. Меня увели. Хозяйка, чтоб ее взял черт, подскочила ко мне и хотела в карман вложить что-то завернутое в бумагу.

– Век, – с яростью крикнул я и головой ударил ее в грудь, да так, что и сам повалился на землю.

– – яростно крикнул полицейай и больно ударил под бок носком, я как обожженный вскочил на ноги и оглянулся. На пороге стояла утирая слезы Ева, мне стало жаль ее, жалко самого себя, и непрошенные редкие слезы полились из глаз.

Идти за полицейским долго не пришлось. Меня бросили в полутемный подвал: пучок соломы, постель и захудалое одело. Оставили на ночь. Руки освободили от [Л.5] лещат, и я, утомленный дневными заботами, заснул. Утро. День. Вечер. Снова ночь и снова никого. Голод победил. Я терпел, но терпению пришел конец, я начал хлопать в дверь, подошел к маленькому окошку, попробовал решетку, крепкая... Дальше сел и начал вслух читать «Невольника» Шевченко, но память исчезла куда-то, «Невольник» переходил

на «Сон», а «Сон» на «Думу об Опанасе». Дума же вызвала за собой «Гайдамаки» и так без конца, пока не село солнце и на улице стало смеркаться.

На лестнице слышались тихие шаги, а потом хлопнули засовы и с фонариком появился пыкатый, посиневший от попойки полицейский, и топнув ногой крикнул:

– Раус.

– Раус, – прозвенело в ушах.

– Раус, – ударило о стенки подвала.

Я сбился в маленький клубочек и незаметно ускользнул за дверь... Полицейский спешил за мной..... гаркнул он и я по лестнице стал подниматься вверх. Полицейский открыл дверь, и я вошел в просторную светлую комнату и остановился от неожиданности.

За широким дубовым столом, в роскошном старинном кресле сидел рыжеусый с оскаленными зубами и чрезмерно обвисшей нижней челюстью, с серыми, словно кошачьими глазами – какой-то тупоголовый немецкий ефрейтор. Пряди, зализанные и вымазанные эфиром, волос свисали паклей с его головы. Рядом с ним в таком же кресле сидел седенький, со многими морщинами на высоком лбу и с большой лысиной посреди головы – бургомастер [Л.6] Стропуза – так называлось село, а у стола ко мне спиной стоял, переминаясь с ноги на ногу, мой хозяин Макс...

За мной захлопнулась дверь. Я стал...

«День добрый, господин», – сказал сквозь зубы рыжеусый. «А может вечер», – оборотнем бросил я. «Ах, добрый вечер», – повторил по-польски рыжеусый и скривил рот, да так жалостливо, словно бы три дня не ел. Макс Новель повернулся, и ехидная сверхчеловеческая улыбка расплылась на лице «подлеца», – промелькнула мысль в моей голове. «Варвары» – почти не крикнул я, но пересохшие губы, и горло не подали никакого звука.

–, – сказал старичок.

–, – и ответил, едва шевельнув губами я.

– Почему господин не хочет работать, нап мы дардзо ладного хозяина, – сказал рыжеусый.

–, – сказал старичок подобострастно. И они поднесли стакан с водой. Я с жадностью выпил стакан.

После долгого разговора меня освободили и полицейский повел в лагерь, где жили мои друзья.

Всю ночь провели мы в упоминаниях о родном крае, а к утру уснули.

В 5 часов звонок. Грохнули засовы и словно петух безрукий немец проорал – «Ауфштейн». Один [Л.7] за другим вставали невольники и, умывшись холодной водой, тая дикую злобу и ненависть под сердцем, злясь где-то в глубине души, шли на работу. В этот день я был больной. Грустно и тяжело проходили минуты, хотелось есть, но нигде ничего не было, и я вставал, подходил к крану и пил, пил жадно воду... К вечеру в зал, где мы жили, пришла Матильда – старая немка. Она робко остановилась, увидев меня у крана с водой, а потом, расспросив в чем дело, почти незаметно вышла, и потом вернулась с кружкой молока и маленьким кусочком хлеба. Поужинав

чем бог послал, я упал обливаясь слезами в постель. В глазах промелькнула родная земля, село, сады, родительский дом.

Уже уснул, как кто-то толкнул меня легонько в бок, чья-то словно материнская рука легла на лицо... Я со страхом открыл тяжелые веки, передо мной стояла и тихо улыбалась Ева, моя несчастная Ева, я встал и глаза встретились с ее глазами. В них были слезы.

– Ева, – крикнул я.

Она закрыла лицо руками и тяжело села на нары.

– Несчастный, – прошептала она, и ее руки обвили мою шею... я заплакал, как маленький ребенок... Ева передала мне пакетик и так же неожиданно исчезла, как и появилась. Поужинав я лег спать, ребята сошлись, некоторые сразу упали от усталости на кровать, только несколько человек говорили в уборной, но тихо скрипела пилка, пилили решетку... Я заснул.

[Л.8] Рано вскочил от крика «.....» и умывшись пошел на работу. День прошел незаметно, а на другой день меня перевели к другому хозяину.

Бегство.

Семь дней проработал я у хозяина, но не мог вынести издевательств и побоев.

18 июня, украв хозяйские ботинки, буханку хлеба и кусок ветчины, я решил бежать в лес... Цвели первые черешни...

Вечером через окно, где мы уже выпилили решетку, порвав три одеяла товарищи спустили нас... На парадном крыльце спокойно кунял часовой полицаи... ведь дверь заперта, окна зарешечены, а со второго этажа без шума побег невозможен. Однако первые пионеры уже были в лесу. Нас было четверо. Всю ночь мы брели по лесным тропинкам, направляясь к югу над Эльбой, минуя деревни и городки. Позади остался..... с его огнями. А дальше и счет потеряли тем городкам и селам. Лишь 23 июня, когда перешли границу протектората и углубились в Богемский лес, облегченно вздохнули. Так начиналась лесная жизнь.

[Л.9] Лесовики.

В лесу их было четверо.

Высокий, худой с пожелтевшим лицом, на котором виднелся шрам через всю щеку, с веселыми серыми глазами дядя Саша Каропов, второй чуть ниже с плоским словно монгольским лицом Ваня Яблонцев – тоже сибиряк, Миша Ходосов и Савва...

Ночь... Среди облаков как вор крадется луна, трещит под ногами сушняк, все дальше и дальше на север остается Струппен с его бауэрами, с его холодными подвалами и казематами гестапо.

Мы шли по лесу, далеко обходя деревни. Погода внезапно изменилась. На улице появились частые и сильные дожди. Продукты закончились. Был второй день бегства. Пробираясь по лесной тропинке, мы заметили далеко внизу полицейского.

– Савва, – обратился ко мне дядя Саша.

– Что? – спросил я.

– Достать бы оружие.

– А где?

– Без всякого но, нужно действовать. Садись здесь и жди, вот охотник, попробуй заговорить, а мы уже...

Мы затихли. Из-за голенища своих порванных сапог, из которых выглядывали покрасневшие от околечения пальцы, дядя Саша вытащил охотничий нож и передал мне. Я взял и со страхом примостился на камне, где мне указали друзья... Внизу под камнем бежала, извиваясь змеей, горная тропа, по ней спокойно шел полицейский. [Л.10] Сердце остановилось в груди... затаив дыхание, я считал каждую секунду, крепко зажав в руке колодочку ножа. Вот он уже рядом с камнем, красное беззастенчивое пышное лицо, длинный орлиный нос, под густыми рыжими бровями хитрые и лукавые глаза... Он прислушивается боязливо оглядываясь идет прямо на меня, вот поравнялся, прошел...

Вмиг. Немец вскрикнул от неожиданности и свалился на тропинке, еще мгновение – кровь брызгами сверкнула с широкой спины, я испуганно вырвал нож... С перекошенным от ужаса лицом, немец взглянул на меня и широко открыл глаза, обливаясь кровью затих... Я стоял над трупом жертвы словно окаменелый, рука сжимала холодную рукоятку ножа, я с отвращением посмотрел на труп. Где-то за лесом светило солнце; последние лучи пробивались через верхушки деревьев; и только я пришел в себя, когда услышал веселый голос дяди Саши: «Кончено. Молодец». Я тяжело осел на землю.

День подходил к концу. Вечером голод заставил уйти в сторону, вернее спуститься с гор в богатый немецкий поселок на берегу Эльбы. Моросил теплый летний дождь. К вечеру потемнело. Только Эльба отражалась от электрических огней недалекого городка, по другую сторону реки высоко поднимался силуэт какого-то старинного замка или крепости. Вот и деревня. Богатые хозяева. Двор огражден высоким забором, но мы [Л.11] ныряем, и тихо под забором заходили с поля.

Минуты стали бесконечно длинные, но все напрасно. Дядя Саша стучится в окно, назойливо и долго. Ваня перерезал провода, боясь, чтобы не известили по телефону, мы с Мишей ищем окно в подвал.

В окне показывается фигура рыжего, аж красного от напряжения немца-хозяина, пистолет, нацеленный прямо сквозь оконное стекло, заставляет его поднять произвольно руки вверх, и тогда я почти шепотом кричу сквозь окно «.....» – волосатая фигура робко опустив руку открыл. Еще мгновение и двое здоровых людей метнулись в дом.

Черная тревожная ночь синела вокруг.

Хозяину связаны назад руки, рот заткнут кляпом, хозяйку застали в постели, она в длинной ночной рубашке тряслась от испуга и была в таком беспомощном положении, что не могла ни кричать, ни говорить. Я остался в спальне лицом к лицу с ней, а друзья, где они? Минута за минутой тянется жесткая длинная, бесконечная длинная ночь. Но вот как сквозь сон меня толкают под бок, я вращаюсь.

– Ну пошли, – тихо говорит Ваня.

– Нур айне ворте дан капут, – бросаю я человеку, который и без того лежит и испуганными глазами смотрит на меня как на привидение, и, закрыв окно, выходим уже через дверь и, закрыв окно, убегаем в горы, в лес и в темную пустоту дождливой ночи. Не знаю, что было [Л.12] дальше, знаю только то, что шли мы очень долго, робко оглядываясь во тьму ночи, туда, где покинули недавно село. Начало рассветать. Дождь утих. Перелезли с друзьями через проволочное ограждение, мы забрались в заросли молодого ясенника, где и решили отдохнуть. Скинув с плеч мешки, немного передохнули. Одежда была мокрая, зубы тарахтели, отражая дробь от холода. Но очаг разжечь боялись.

Вдруг подул свежий ветер и черные клочья хисар начали разуваться. Где-то далеко, далеко за прошедшими зубчатыми горами, покрытыми сосной и елью, вставало солнце. Недалеко в глубоком привале журчала играющая на камне горная река, а еще дальше синела в утреннем мареве Эльба. День прошел почти без приключений. Под целебными лучами солнца согрелись, просушились, а потом, сбросив с себя старые лубья и лохмотья, стали одеваться в новое чистое, что принесли ребята с собой в мешках.

Вечер. Гаснут последние лучи, садящиеся за шпилями гор, покрытых лесами солнца. Во улицу надвигается тепло. Отправляемся в путь. Кушать есть что. Огорчаться нечего. В подвале достали пару револьверов и ящик с патронами.

Идем по лесу, внимательно прислушиваясь к шуму вокруг. За плечами вещевые мешки с продовольствием. Лес вдруг обрывается и перед нами чужой горящий огнями город. [Л.13] Обойти. В обход мы и направились... Целую ночь обходим город, заборы, проволочные заграждения, нивы с рожью и картошкой, и вдруг широкой полосой блеснула река...

Неужели опять неприятность, неужели Эльба? Сворачиваем в прибрежный лесок, останавливаемся и передохнув трогаемся дальше в горы. Ночь прошла совсем неожиданно. Розовый горизонт. Где-то восходит солнце, забираемся в чащу леса и остановились на дневной отдых. Ищу карту и город и радостно вскрикиваю: Чехословакия, ребята, за 15 км граница протектората. Ждем с нетерпением ночи. Под вечер случилось происшествие. Миша заметил их, когда ходил за водой к горному ручью. Бежать, собираем свои пожитки и готовились к бегству.

– Сколько? – спрашивает встревоженно Саша.

– Двое, – говорит шепотом Миша.

– Савва, – кричит Саша.

– Я.

– Сбрасывай мешок и выйди навстречу.

Пистолеты засунуты в карман, руки тоже, сжимаю холодные рукоятки наганов. С трепетом сердца выхожу на дорогу... и становлюсь возле гранитного причудливо обработанного природой камня, возвышавшегося над единственной тропинкой в горах, и из нее открывался живописный вид далекого города, который остался позади.

[Л.141] Тихо что-то разговаривая, по лесной тропинке пробирается двое. В коротеньких брюках с вымазанными и прилизанными волосами на голове, в коричневых рубашках, аккуратно подпоясанные ремнями, на которых болтаются «ножи» и кобуры револьверов, шествует прямо на меня два молодых немца, им лет по 15, никак не больше. Иду навстречу.

Я перед ними предстал совсем неожиданно и радостно кричу –
.....

Они со страхом осматриваются вокруг и беспомощно моргают глазами. Еще мгновение. И две струйки холодные нацелены прямо в грудь и резкий крик: ошеломляют их, и они послушно поднимают вверх руки. Слышен шорох, быстрые шаги и мои друзья здесь как здесь.

– Фриц, – прорычал сквозь зубы Саша, и ударил гитлеровца прямо в морду, тот, даже не вскрикнув, упал, изо рта, из носа потекла кровь. Второй с поднятыми вверх руками смотрел такими умоляющими глазами, что мне стало жаль, но это было мгновение. Обезоружив, мы решили спешить, ведь нет времени..... – сказал я тому, что лежал. Он встал. они слушали повеления и, робко оглядываясь, сбросили короткие штанишки.

– Кончай, – сердито ответил мне Ваня.

– Есть, кончай, – раздалось коротко и прямо в глубине моей души..... сказал я и немцы боязливо оглядываясь двинулись за мной, позади их шел смеясь, сияющий от радости Миша. – Кончай, кончай, – стучало в висках, а может, нет, ничего не может, не я их – они меня. Внизу шумела река, в черном провале стеной стояли сосны. Время не ждет. [Л.15] Я поворачиваюсь и в руке холодно сверкает сталь, немцы остановились, они, они с неописуемым ужасом смотрят на руку, которая поднимается выше и выше, прямо в грудь, первого с голубыми как синее весеннее небо глазами, с коротким почти девичьим носом и вдруг кровь ударяет в мозг.

– Кончай, – раздался выстрел, за ним второй, резкий и одинокий. Первый смешно взмахнул руками, словно крыльями, и упал, из дымящейся в груди черной раны хлынула кровь, запах свежей крови ударил и нос, и я, ничего не видя, поднял снова руку. Заплаканное, испуганное лицо метнулось перед глазами, два сухих и коротких выстрела прозвучали вместе, немец взмахнул руками и упал в пропасть. – Кончай, – кончай – но уже некого было кончать. Я испуганно пихнул ногой труп, холодный с открытыми голубыми глазами, словно просили «пощады», и бросился в заросли вслед за Мишей. Где-то далеко внизу раздался выстрел. Мы все четверо вскочили на ноги и бросились в лес.

Ноги вязли в мокрой глине, дыхание спиралось в груди, а мы бежали, бежали и бежали, убегали от неминуемой погони. Вокруг стояла волшебная ночь. Между роскошными еловыми верхушками в молочном тумане ночи мерцали переливаясь звезды, а за горами появлялся своим серебристым краем большой полумесяц.

Мы уходили. Бежали. Снова шли. Отдохнув, снова бежали. Утром спустились в долину. Река поубавилась и мы, найдя подходящее место, стали думать о переправе и вдруг мостик, да, мостик, небольшой, мостик [Л.16] для

пешеходов или охотников, воспользовавшись утренней прохладой и минуя какое-то жилище, мы перешли через реку... Проходят дни за днями. Сколько пережито и вот позади осталась Чехословацкая граница, Судеты, и мы уже хозяева Богемского леса.

...Отлично жить в лесу, когда он летним утром переливается птичьими разнообразными голосами. Но для человека, потерявшего наслаждение в спокойной жизни, а жажда мести все зовет на новые и новые жертвы за свою изуродованную жизнь, лес казался каким-то устрашающим.

В странствиях прошел счастливый и жизнерадостный июнь, мы потеряли счет дням, ведь жизнь плыла весело – и бесстрашная ватага народных мстителей гуляла и чувствуя себя хозяином леса. Семья беглецов росла с каждым днем, приходили все новые и новые друзья, 75 было уже в лесу, 75 обездоленных обиженных немцами, ждали, жили бурлацкой жизнью и мстили.

За сожженные села Белоруссии. За разрушенные города Украины. За убитых братьев, за сожженные дома за Днестром, над волшебной Росью, над шумной Припятью.

Середина июля.

Везде неудачи. Облава за облавой. Некоторые из ребят уже не возвращаются несколько дней в гнездо.

Что ждет нас дальше, нам неизвестно.

15 июля 1942 года. Солнечное погожее утро, из лагеря ночью сбежало несколько человек, ватага народных мстителей разбегается. День прошел весь в пути, бредем вслепую по лесным тропам Богемского леса. Вечер. [Л.17] О, проклятый вечер! Дорога ограждена патрулями, спереди облава, первые выстрелы. Собираемся в кучу. Решаем прорвать с фланга. Позади ближе и ближе выстрелы, словно все черти вылезли из ада.

– К бою, – раздался спокойный голос Саши. Смерть или воля – рывкнули несколько автоматов, пули, обдирая кору на соснах, стоявших со всех сторон и образовывали уютную лужайку, где словно загнан зверь в клетку, решили мы защищаться. Охотники на людей наседали. Все ближе и ближе раздавались выстрелы. Но мы молчали, нам каждый патрон был очень дорог.

Кто-то на левом крыле обороны подпустил совсем близко фрицев, гансов и куртов, махнул из тайника рукой, словно шмель прогудели пули из автомата и вдруг взрыв встряхнул воздух, я испуганно оглянулся, с дикими перекошенным лицом, из которого ручьями текла черная, но страшная мазута, немец, махнув руками, свалился между деревьев, запахло обгоревшим мясом, волосами.

Везде затрещали автоматчики. Но природа сделала укрепленные доты, и мы смело сидели между камнями, выжидая появления того или иного ганса. Пули одна за другой словно шмели кусали немцев и те, дико вскрикнув, падали навзничь... обливая кровью потрескавшуюся каменную землю, посыпанную множеством сосновых игл.

Заканчивались патроны. В магазине их осталось четыре, выстрелив, я отбросил ненужную винтовку, вытащил из-за пазухи, из кармана пистолет и

решил: живым ни за что. [Л.18] Улетела граната в кучку бандитов, это была последняя надежда на спасение.

Вдруг случилось что-то неожиданное, что-то тяжело ударило в спину, выстрел и я потерял сознание. Долго ли это было – не знаю.

Больно толкнули под бок, и я поднялся медленно на ноги. Почти до утра под ударами сопровождающих блуждали по лесу, а друзья – где они?

Наутро спустились в село. В загоне для овец под большой охраной увидел М. Ходосова, И. Яблонцева, П. Лихого, дядю Сашу с подбитым правым глазом и окровавленной головой, Вову Полищука, и других – около двух десятков их здесь. Вечером голодные, истощенные под дневной жарой, под большим конвоем пригнали их на полустанок. Посадили в вагоны и увезли. Утром мы были в Низиде, Течином, Боденвалье, передневали, а потом поехали дальше. Уже позади остались Диленштайн и..... вправо проклятый Струппен..... и наконец-то огни большого города. Это Дрезден. О проклятие.

Тюрьмы и казематы.

Машинами, что здесь называется черный ворон, по 20 человек перевезли в тюрьму. Помню, меня и четырех других, перебив резиновыми палками и холодной водой, полуобнаженных загнали в подвал.

– Коммунисты, – процедил пожилой человек с выцветшей фуражкой на голове, из-под которой горели хищные воровские глаза. Идем молча. Нас больше не толкают.

[Л.19] – Иудей, – повторяет рыжий с кривой ухмылкой на каком-то красном от напряжения лице.

– Партизаны, – и тяжелая бамбуковая палка упала на избитые и без того плечи.

– Партизаны, коммунисты, бандиты. Сволочь, – и на каждое слово удары, удары, удары бамбуковой палки.

Наконец-то привели. Вот оно место жительства – глубокая полутемная будка, в потолке тускло мигает одинокая лампочка. Комната так метров 10 в длину и метров 10 в ширину, одинокое зарешеченное по последнему слову техники окно, а на полу друг поверх друга с полусумасшедшими глазами арестанты.

– Здравствуйте, – бросил я превозмогая боль, но никто ничего не ответил.

– Место, – крикнул рыжий и толкнул нас в дверь с такой силой, что мы попадали на головы таких же, как и мы.

– Свинья, – сказал кто-то шепотом.

– Что, – взревел рыжеголовый, да так, что даже полинявшая кепи спала с головы.

– Палок, – крикнул он, обернувшись, в дальнем коридоре застучали парачьих-то ног.

Вдруг хлопнула дверь и погас свет. Мы остались в провалье. Сжавшись в клубочки, на четвереньках, потому что иначе нельзя было, мы разместились в новом месте.

Вокруг воняло, жара невыносимая, хотелось пить. Кто-то стонал, кто-то плакал, слезы сдавили мне горло, [Л.20] но их не было, они высохли, как высыхают ручьи в летнее время, когда солнце своим золототканым лучом высушивает воды до дна.

– Пить, – кто-то умолял, затухающим голосом.

– Что это за яма? – спрашиваю у товарища.

– Карантинная.

– Проклятые звери.

– Тихо, не кричи, – кто-то толкает сбоку.

В коридоре зазвонили, обед – сказал товарищ. И в самом деле, распахнулась дверь, на пороге с огромным чаном в руках чистенько одетые два поляка держали много старой почерневшей картошки, они кого-то ждали.

Оскалив зубы, подошел рыжеголовый с каким-то списком. Вызвали несколько человек. Куда, спрашиваю одного избитого всего в почерневших синяках парня.

– На свободу, – говорит вздохнув тот, – и так каждый день.

– Хотите есть? – спросил с циничной усмешкой рыжий.

– Тишина. А, вы не желаете.

И грохнула дверь и картошка исчезла. Только на столе тускло блестела лампочка, но кто-то тяжело плакал в углу. Дверь отворилась снова и прямо на головы посыпалась из рук рыжего гнилая, вонючая, прелая картошка вместе с соломой. Что творилось в это время, нельзя разобрать – выморенные голодом, полуодичавшие люди лезли друг на друга. Хватали. Рвали. Харкали, кричали, давили друг друга. [Л.21] После такого обеда аж мурашки лазили по спине, сколько попало пинков. Через время, как все стихло, пришел рыжий и с большим удовольствием произнес: «Новенькие, приведшие сегодня, выйдите». Мы переступали через головы товарищам, выбрались на свет в коридор.

Воды, кто-то крикнул. Случилось что-то страшное. Рыжий с двумя помощниками вскочил в подвал и пошел молотить палкой по головам налево и направо.

Нас что-то спросили, а потом снова толкнули в этот ад.

К вечеру дали воды. Делалось это так. Рыжий Леня, так звали его, принес ее в ведре и вылил нам прямо на голову, чтобы освежить немного нас. Так было вылито нам на головы несколько ведер воды.

Наступила ночь. О, это проклятая, кошмарная ночь, вырвавшая из подвала четырех несчастливцев. Мы сидели мокрые, как цыплята после большого дождя, но что творилось ночью, трудно описать. А творилось ужасное. Кто молился, кто прощался, кто кричал. Прощай Украина, прощай родная земля. Наутро переслали нас во вторую тюрьму. Глубокие и холодные полутемные подвалы, длинные нары – вот что ждало нас здесь.

На нарах было набросано по охапке гнилой или прелой соломы, но мы, уставшие бессонной ночью, попадали на гниль и уснули почти мертвецким сном.

Проходили дни, ночи, но когда же кончатся эти мучения, нам ничего не было известно. Мы только и ждали звонок, на [Л.22] пороге появляется смотритель и ведет нас по полутемному коридору, построив по одному получать обед. На дверях, недалеко от кухни, происходила примерно такая процедура: стоял стол, на столе миски, их по одной подавал какой-то «благодетель» с проклятой богом и людьми польской шляхты, а дальше ты вскакивал как обожженный в кухню, хотя ее правда и не было, потому что в просторной комнате стояли бачки с горячими помоями, и ты подпрыгнув подставлял миску, хватал и изо всех сил бежал по коридору назад к цели... Вслед за тобой свист и мат одичавших голодных людей. Забившись где-то в уголок, чтобы не разлить, жадно без ложки пил горячие прокисшие помои. Так прошло несколько дней. Кормили здесь как на убой. Утром давали пол-литра жидкой баланды и 50 грамм хлеба, в обед литр кислых помоев, а вечером литр черного горького кофе и 50 грамм хлеба, или вернее опилок.

Наконец, однажды пришел Мицкевич, это польский проходимец, попавший из-за немки в тюрьму и тут решивший достать себе карьеру палача, чего ему легко удалось добиться, и прочитал длинный список арестантов, которые должны были готовиться к следствию. Начали вызывать моих друзей один за другим, но где девались они, пока нам ничего неизвестно, ведь обратно возвращали их совсем мало.

Четвертый день. Камера заметно осиротела... Где-то после обеда открылась дверь и подхалимский голос Мицкевича:

– Полтавец, к выходу.

[Л.23] Волосы стали дыбом, сердце забилося чаще, ноги и руки тряслись, весь был как в лихорадке, когда вышел за дверь вздохнул немного свободнее.

Вызвали еще двоих. Длинной и извитой лестницей погнали куда-то наверх. Наконец, перед нами открылась дверь и мы, испуганные дневным светом, великолепием нарядной комнаты, стали на пороге, но это мгновение, кто-то больно толкнул, и мы очутились в комнате. Стучала «.....» – какая-то пышная девушка с веснушчатым, но приятным личиком с модной прической, с голубыми глубокими глазами ритмично отбивала на клавишах черного «.....» за широким письменным столом, на котором кучей лежали какие-то бумаги, стоял чернильный прибор, пепельница, лежала на бумагах толстая резиновая палка, в роскошном кресле, выставив огромное брюхо, полусидел-полулежал одетый человек с огромной лысиной на голове, с длинным каким-то удивительно чудным носом, с позолоченным пенсне над серыми, какими-то кошачьими глазами. С гитлеровской свастики на рукаве в коричневых шароварах с длинным синим с беленькими крапинками галстуком на шее. Он из-под пенсне посмотрел кошачьими глазами, смерил с головы до ног и, вынув изо рта приятно дымящую сигарету, гаркнул так, что в ушах похолодело: «На колени», «Негодяи».

Дрожь пробежала по телу, но никто не рухнул, все остались на месте, тогда пожилой человек тяжело приподнялся и крикнул «кругом». [Л.24] Мы, не помня сами себя, путаясь ногами, повернулись спиной к столу, к девушке, громыхавшей победно на «...», словно она дразнила нас. Глаза налились

кровью, к горлу подступали слезы, но это неправильно, плакать никто не смеет. Жизнь раз дана, и умирать один раз, не дважды.

– Богомоллов, – просек сквозь зубы следователь, мой товарищ повернулся. Его что-то спрашивали, избивали, но мы стояли в полузабвении, думая о родном крае, о родной земле.

– Карцер, – донеслось до моих ушей, открыли дверь, вошли двое полицейский и Митю, так звали Боголюбова, вывели за дверь.

– Сердюк.

– Я, – отозвался второй товарищ, с ним короткий разговор, полдесятка ударов резиновой палкой и его вывели. Наступила удручающая тишина. Я ждал...

– Липа, – почти над ухом рывкнул следователь, я испуганно вздрогнул, но ни слова.

– Полтавец, – процедил следователь.

– Я, – овладевая собой крикнул я, и испугался своего голоса, он был какой-то звонкий в те минуты.

– Кругом.

Поворачиваюсь. И почти вслепую близко подхожу к столу. Следователь, потирая руки, сел в кресло. Стучал «Ундервуд».

– Да, – начал следователь.

Полтавец Николай Григорьевич, 1926 года, украинец.

[Л.25] – Врешь, – и что-то хлесткое поросло по плечам. Жид... жид... жид... Я сумасшедшими глазами смотрел, но ничего не видел... только удары и удары доходили до мозга и где-то терялись в глубине коры мозга. Наконец-то бить перестали, с учтивостью подставили кресло, может стул, не помню, дали стакан воды и успокоившись начали цедить:

– Ваша фамилия.

– Полтавец.

– Имя и отчество.

– Николай Григорьевич.

– Год рождения.

– 1926.

– Врешь.

– Да.

– Что-оо, – взревел следователь.

– Специальность.

– Нет.

– Где родился.

– В Украине.

– Украина велика.

– Да.

– Идиот. В каком крае.

– А... в Киевской области.

– Район.

– Мироновский.

- Врешь.
- Нет.
- [Л.26] – Где работал в Германии.
- Я убежал из эшелона.
- Врешь.
- Значит, нет.
- Свинья.
- Конечно, русские все свиньи.
- Что... – и палка снова огрела меня.
- Ты скажешь правду.
- Я же говорю, – притворяясь озабоченным, ответил Савва.
- Где тебя поймали.
- В лесу.
- Что ты там делал, бандит.
- То, что и люди.
- Какие люди, ты знаешь, что те, с кем поймали тебя, давно уже не люди, а трупы, мертвецы...
- Я тоже мертвец, но еще с живым сердцем.
- Что, – а дальше ласково...
- Ты комсомолец.
- Да.
- Образование.
- 6 классов.
- Врешь, урод.
- А карты, найденные у тебя, о чем свидетельствуют? Ты знаешь немецкий язык.
- Нет, не знаю.

Почти целых два часа проходило следствие... Наконец, полуживого, с побитыми плечами, с побитой головой втащили в какой-то подвал, с грохотом закрылась [Л.27] дверь, и я ушел в самый мертвый сон...

Окружающая прохлада заставила пробудиться, я проснулся, оглянулся вокруг, но вокруг было темно как в гробу, что-то сделалось тяжело и слезы, горячие юношеские слезы покатались по щекам и упали в темноте на каменный холодный пол, и я снова погрузился в забытие.

...Что-то ущипнуло, ударило в ноздри, и я, проснувшись, испуганно разжал тяжелые набухшие от слез веки и посмотрел: горел свет, возле меня на коленях стоял какой-то старичок и взяв руку мерил пульс. Потом меня перевели в одиночную камеру, где еще два раза приходил старичок в этот день. В обед принесли грамм 300 хлеба, литр хорошего картофельного супа и во второй кружечке горячей сладкой кофе. Я выпил все это, улегся спать.

Тревожные сны блуждали в голове. Несколько раз просыпался, но ничего. Прошли три долгих скучных как долгие годы дня. Наконец снова повели по длинным коридорам к следователю.

На этот раз спрашивали недолго, вели себя вежливее, сняли оттиски пальцев и, накричав, повели опять в одиночку. Один день пробыл я там, а потом снова перевели в общую камеру. Из старых друзей уже никого не было.

Наконец-то 20 августа последний и самый страшный допрос, что со мной делали – не помню, все вылетело из головы, знаю только то, что после того, как ударил гестаповец в зубы, я харкнул кровью ему в лицо, ну а потом били, топтали... проснулся я уже на гряде гнилой соломы и попросил пить.

[Л.28] 25 августа начали готовить в дорогу, выдали кое-что из одежды, выдали сумки и, выстроив на площади, начали загонять по 20 человек в «черный ворон», кто не влезал, того впихивали коленом под бок и наглухо закрывали дверь. Закончив погрузку, машины покатали полусонными улицами Дрездена, а куда – неизвестно.

Вечером нас погрузили в арестантские вагоны по 5 человек в каждую камеру, а перед рассветом поезд помчался куда-то на север над Эльбой. Позади остался Кенигсберг, а после него и Струппен с его проклятыми бауэрами и хозяевами.

К обеду поезд остановился в Лейпциге. Я твердо решил найти на карте куда нас везут, но ничего не добился. Концлагерь Дахау в Австрии, а нас везут на Берлин. Постояв что-то около получаса поезд пошел дальше, справа остался Хемниц и наконец в 4 часа поезд остановился в г. Веймар. А отсюда нас машинами перебрасывали в какой-то лагерь, а что за лагерь – опишу дальше.

Итак, шесть часов дня, построив перед воротами по пять человек, тщательно пересчитали и потом распахнулись ворота, на одних я успел прочитать: «.....», и мы последовали за человеком в зеленой солдатской форме с портфелем под рукой в хороших хромовых сапогах за голенищами которых была проволоочная нагайка. Следом за ним шло несколько немецких солдат с винтовками за [Л.29] плечами и что-то весело щебетали, за их плечами нам не видно было, о чем идет речь. Как испуганный зверек я поглядывал направо и налево, стараясь ничего не пропустить. Слева стояла какая-то кирпичная постройка, за высоким сосновым забором возвышенность, даже страшно взглянуть – широкая четырехгранная труба, наверное завод, подумал я, слева шли проволоочные ограждения. Пройдя еще несколько шагов в ноздри ударил хлебный запах. Пекарня – тихо сказал кто-то, показывая суровыми глазами на кирпичные постройки. Так я и подумал. Наконец-то улица повернула влево вниз. Слева остались кирпичные постройки, а справа на воротах я успел прочесть «Дны», но что это такое не разобрал. Еще ниже в ноздри ударил запах гнилой капусты, а также паром хорошо выстиранного белья. Нас обвели вокруг большого дома, напоминающего собой нашу букву «Т», и поставили перед дверью какой-то конторы. Люди в белых халатах, с косыночками зеленого, красного, синего цвета вышли к нам. Заходило солнце. Нас заставили раздеться, сложить вещи в мешки и пристегнуть ярлыки, а потом два СС-бандита проверяли у каждого в ушах, во рту, и еще в некоторых местах, по одному начали пускать в баню. В бане огромный рыжеусый заставил прыгать нас каждого в чан с раствором креолина, зачем не знаю, а

потом, выскочив из этой зловонной масляной жидкости, нас поставили по два в очередь. Горели в потолке электролампочки, шипели под потолком трубы и краны от воды, а снизу на стульчиках сидели люди с электромашинками и поочередно стригли всякого, кто приходил. Подошла и моя очередь. Мордастый поляк спросил по-русски, но я промолчал, [Л.30] тогда он бросил искусно: «.....», но я смолчал. Наконец дали воду, покупавшись в хорошей теплой воде, мы пошли куда-то наверх вслед за человеком в темно-синих очках и в белом длинном, достигавшем пят, халате.

По одному заходим в какое-то помещение, записывают фамилии и идем в другую комнату, где выдают полосатые синие рубашки, потом в другую, где выдают такие же синие кальсоны, потом в третью – фуражки и костюм, серый арестантский костюм, о котором я даже не мечтал и во сне.

Наконец выдают колодки, это деревянные ботинки, и мы спускаемся по лестнице вниз и идем за людьми, которые все время освещают путь прожекторами, в неизвестность по улицам какого-то города. По обе стороны видим двухэтажные дома, наконец, останавливаемся возле одного такого дома и нас, внимательно перечислив, загоняют в зал.

В зале нас встречает среднего роста человек и приветливо почти на русском говорит: «Прошу, садитесь». Мы уставшие садимся за столы. Медленно утихает шум. Тогда человек встает из-за своего столика, где у него постель, и тихо говорит:

– Товарищи. Господа. Вы попали в концентрационный лагерь. С сегодняшнего дня вы все так же, как и я, и сотни других уже те люди, которых зовут людьми, мы рабы, мы преданы Германии, мы вечные каторжники концентрационного лагеря. Чтобы выжить, нужно главное быть почти незаметным, выполнять все задачи, режим лагеря. А в основном, не падать духом, ждать лучших времен. Сегодня вы идите [Л.31] за мной.

И человек направился в спальню, мы последовали за ним. В широком тускло освещенном зале в четыре ряда по две койки в паре стояли чистенько убранные коечки. Это впервые в Германии я увидел подлинное место для беззаботного отдыха людей. Это была спальня, дав каждому место, человек приказал раздеваться, сбрасывать пиджак, штаны и кальсоны, и идти спать.

Кишки играли марш. Но ничего не поделаешь. Приходится ложиться спать, это не у родной мамы, что можно попросить. Забравшись под одеяло я заснул почти мертвецким сном.

Утром. Загорелся свет. И человек, войдя в зал, сказал: «Встать всем». Один за другим начали подниматься и, поспешно одевшись, бросались к умывальнику, чтобы скорее продрать заспанные глаза. Вернувшись из умывальника садились за столы и ждали, когда затихнет шум. Человек, а с ним еще один, это тот, которого я его видел в бане, когда стригли волосы, принесли большой бак к столу и начали наливать в стоящие на столах алюминиевые кружки жиденький суп, который мы с большим удовольствием выпивали вплоть до самого дна. Затем нас вывели во двор и построили по 10 человек, зачем-то пересчитали и отпустили снова в зал за столы. Жидкий, но приятный суп сделал свое дело, еще больше захотелось есть, но нигде ничего не было и

нам приходилось терпеть. Ждать возвращения толстого, нашего начальника, которого мы еще [Л.32] не знаем, как и величать.

Где-то за окном за деревянными бараками, стоящими длинными рядами с запада на восток, весело выигрывал духовой оркестр.

В семь часов пришел наш начальник. Разболтались. Зовут его Властислав Бакер, родом из Чехии, в лагере с 1938 года, сам профессор музыки в Праге в прошлом и музыкант на кларнете в лагере. Говорит хорошо по-русски, был дважды в России в 1926 и 1934 годах, член социал-демократической партии Чехословакии, после занятия немцами Праги был заключен в лагерь как политически неблагонадежный. С моей точки зрения, ему лет под сорок, а может и больше. Голова чеха выбрита, под широкими черными бровями с заметной сединой, в глубоких ямах какого-то опухшего, красного от напряжения лица играют веселые серые глаза, нос длинный, орлиный.

Одежда на нем: хорошие ботинки с гетрами вместо голенища, красное галифе с черными и золотистыми лампасами, синий сюртук с золотистыми погонами, украшенный целым рядом серебряных, как из копейки, больших пуговиц, ну а на голову он так же, как и все, одевает шапку, но в отличие от нас она у него из синего сукна, а наши шапки серые, полосатые арестантские. Он приказал звать его штебендистом, кроме него в зале еще был парикмахер, или как говорится голяр.

[Л.33] Перед обедом в одиннадцать часов парикмахер Мишка, или Михель, как приказывал он себя называть, взял из нас двух крепких парней и с корзиной пошли где-то в лагерь. Потом они принесли хлеб, масло (маргарин) и колбасу. Нам разделили всем поровну, и мы с большой жадностью стали есть в первый раз арестантский паек. Состоял он из 300 грамм хлеба, 25 г маргарина, порции в 30-40 грамм колбасы и пол-литра горячего кофе. Пообедав, нас выгнали во двор, выстроили по 5 и начали приучать к лагерному распорядку. Учили снимать шапку, ходить в ногу. В четыре часа погнали наверх к политическому «абетайлунку» или отделу, где нас еще раз переписали по фамилиям и затем известной уже дорогой погнали в баню, где выдали номера и ярлыки.

На треугольном лоскутке красной материи было написано на немецком «Р», а мы смеясь переименовали сначала как «русский рабочий», а затем «русский раб».

Придя на блок – так называлась наша новая квартира, мы принялись упорно и старательно пришивать ярлыки к своим костюмам. Вечером нас выстроили, всего более 70 человек, и погнали на площадь перед воротами. Где-то за лесом село солнце и только его последние лучи кудрявыми облаками плыли низко над нашим городом. Отбыв поверку, или как говорят апель, я пришел к выводу, что в лагере тысяч семь жителей, а потом, взглянув на свой номерок, подумал, ведь это если порядковый номер заключенного, тогда в лагере не 9, а девять тысяч с лишним, ведь мой номер 9454.

[Л.34] После проверки пришли в блок, где долго стоя перед блоком, учили на команду «.....» снимать шапку, а на команду «.....»

надевать. Но наконец штубовым надоело муштровать нас, и мы пошли в штубы, где нас ждал хороший ужин. На ужин дали на этот раз гороховый суп-пюре, поужинав по-настоящему впервые за 2 месяца, ну а затем заслушав еще некоторые организационные порядки и наставления, пошли спать. Так кончился первый день моей жизни в концентрационном лагере.

Прошла неделя, за ней вторая и наконец на третьей начали брать на работы, пошел и я. Возле бани из склада носили одеяла, матрасы и подушки, тут на скале, на которой распутив крылья, хищнически раздув клюв была вырезана статуя орла с фашистской свастикой в ногах было вырезано

– Ребята, Бухенвальд, лагерь называется, – сказал я своим в подвале.

– А ты откуда знаешь?

– Да вот под орлом написано.

– Где?

На самом деле, выйдя из подвала с тюками одеял на плечах, мы пошли вниз, некоторые ребята убедились, что это действительно

[Л.35] Вечером все на блоке уже знали, что лагерь называется Бухенвальд. Через неделю после этого случая весь блок начали готовить к транспорту на Кёльн. Весь блок, в котором на этот день насчитывалось более 350 человек, выстроили на апель-площадке и СС осмотрели каждого в частности, отсчитали 275 человек здоровых ребят, ну а таких, как я, было в блоке двое, то нас послали снова на блок.

1 октября на мой номер пришел вызов к воротам, и меня повезли в г. Вайшер, где, продержав 2 суток в полузимнем подвале, заставили подписать протоколы вечного каторжника, сфотографировали и привезли обратно в лагерь.

5 октября я получил рабочую команду ДНВ и впервые пошел на работу. Работали мы в плацкоманде, носилками вместе с чешскими «жидами» носили землю под строительство нового цеха деревообрабатывающего завода ДАВ, то есть работали на бытовые «.....», 8 октября впервые штрафуют и в выходной день гонят на штрафную работу в Гартенрай, где сильно избили, вечером, переноса цементные плиты, я умышленно разбиваю левую ногу, после чего получаю длительное освобождение от работы.

После многих приключений в ноябре возвращаюсь снова к работе. Но работать долго не пришлось, все тело покрылось чирьями, приходится лечиться.

В январе 1943 года возвращаюсь к работе, работаю в машинзале на ленточной пиле, но в конце января ложусь впервые на операцию. 15 февраля вторая операция и продолжительное [Л.36] освобождение от работы, начинаю кантироваться, то есть умышленно уклоняться от работы. В мае иду снова в ДАВ на ночную смену, в июле переводят работать на Гуслевверке, в патронный цех. В ноябре подожжен цех, все сгорело. Массовые казни участников взрыва.

Первый и последний раз дают двадцать пять штук на «жопу», и я выбываю из строя.

В январе переводят в транспортколонну, в конце января открывается процесс. Бациллы коха – едят... точат юношескую душу. В феврале провожу дни на блоке, начав писать первые литературные пробы.

Еще перед новым годом написал «Молитву фашиста», а также некоторые частушки. 7 марта 1943 года с температурой в 39° написал на 31 блоке, куда нас пересадили из 41 по прибытии норвежцев в феврале, пишу «Песнь о столице» и 8-го кладут на малый ревер.

Малый ревер – это кухня смерти, куда выбрасывали несчастных жертв фашистского произвола на постепенное уничтожение.

Малый ревер – это больница, которая создана для людей, идущих в последний путь, то есть в крематорий.

Малый ревер – это просто барак, в котором насланы четырехэтажные нары, которые называются «собачьими ящиками» – куда впахивают живого человека, а оттуда вытаскивают труп и, прикрыв черным покрывалом, несут в крематорий.

Умывшись в бане, мне молодой польский еврейчик по имени Хаим провел в зал малого ревера, где лежали [Л.37] преимущественно туберкулезные больные, так вот куда судьба забросила наконец меня.

Войдя в 9 зал, у меня закружилось в голове, вонь ударила в ноздри и что поделаешь, значит судьба такая у меня, что я должен здесь отдать душу богу или немецкому черту.

В зале находилось более 90 больных, одни умирали, других приводили. Кроватей в 9 зале было 20, все они были деревянные в три этажа. Больных сгоняли всех национальностей. На мою судьбу сначала выпала «собачья яма», потом кровать №27, далее, на третий день №42 и на 6 день моего пребывания в малом ревере меня поместили на койке №91, где лежали отдельно 9 выздоравливающих больных. Здесь мне пришлось познакомиться с туляком Панином Тимофеем и чехом Юзиком, с которым я был в дружеских отношениях до середины июля.

Медперсонал состоял из голландца, главного доктора француза, двух санитаров, Пьера Потиса – бельгийца и Фридрика Гака – нидерландца, а также двух квалификаторов – Хайма, польского еврея, и чеха Отто Бауэра.

В конце марта я вернулся на работу. Работал, помогая квалификаторам раздавать обед, зажил очень хорошо. Кушать теперь уже было достаточно. Начал безумную литературную работу. Друзья узнали о том, что я выжил и буду жить, начали интересоваться мной. В этот период было написано более 50 разнообразных песенок, частушек и многое другое.

[Л.38] В июне начинают широко применять лечение пневмотораксом, под пневмоторакс попал и я. В конце апреля началась перестройка малого ревера, приложив огромные усилия флигера и общих усилий, барак был перестроен, собачьи ящики выброшены, вместо них поставили трехэтажные койки, привезены новые матрасы, переменены одеяла, принесли простыни, пододеяльники. Вообще ревер приобрел культурный вид, но меня переводят

на большой ревер, поскольку я не ужился здесь с флигерным Карлом Ваненбергом и за скандал был выписан на блок, в августе месяце 1944 года.

На этом ревере я завел себе хороших друзей вроде Вани Овдиенко, Жорки Овдиенко, Пети Бабенко, Анатолия Рыбалко, Николая Мзиненко и многих других, которые остались друзьями на всю жизнь.

Выписавшись из ревера, я начал работать на разных политических работах, то агитатором, то переводчиком, то сборщиком различных источников о событиях на фронтах. Ежедневные тревоги, ежедневные события приносят надежды на скорое окончание войны, на скорое возвращение в родной край. На западе бои идут над Рейном, на востоке у Вислы, на Дунае.

Итак, 24 августа 1944 г. войдет в историю нашей жизни. Вчера началась сборка первых дау снарядов на нашем бухенвальдском, на костях построенном за 3 месяца, заводе. К вечеру было выпущено 2 штуки, [Л.39] а 25 августа день удался удивительно хороший. Солнце плыло в большой высоте, осматривая склоны Тюрингских лесов, где высились длинными рядами дымоходы различных заводов и фабрик.

В восемь часов утра появились первые поисковики, ан./ам. самолеты, проплывали совсем низко над лагерем. Все ждали чего-то с большим нетерпением, еще 8 дней назад над лагерем прокружил одиночный самолет и, сделав восьмерку или петлю над лагерем, полетел на запад к дальним берегам Англии. Наконец, в одиннадцать часов я пришел из пневтабарака, дали что-то напод 1500 см, хорошо позавтракал и пошел в спальню спать. В 15 минут 12 протяжно застонала сирена и в лагерь начали загонять людей. Сквозь сон, который склеил веки, слышалось однообразное гудение тяжелогруженных машин, в беззаботной голубизне плыли на северо-восток, туда, где в развалинах ежедневных бомбардировок и пожаров дымился виновник кровавой войны, бойни народов – устрашающий своими серыми скелетами.

Спать долго не пришлось. Какие-то внутренние ощущения подняли с постели и бросили в окно. Низко над лагерем, пуская за собой длинный дымовой занавес, неслись два истребителя. Вот они развернулись и одна за другой четыре сигнальные ракеты повисли в воздухе над лагерем и медленно начали спускаться вниз, четыре новых понеслись вниз над Гусловерком, над Кагармаши и вдруг визг... [Л.40] лязг... мощный удар встряхнул воздух, черные столбы дыма заполонили небо с запада. В небе гудели моторы. Еще один залп, грохот, свист, взрывы, зазвенели выбитые стекла, срывались с петель окон оконные рамы, ливень камней посыпался на деревянные кровли бараков.

Третий и четвертый взрывы раздались почти одновременно, схватив под руки постель, я выскочил в окно и направился в лес.

Над лагерем победную песню пели моторы. Горные ставни заволокли небо... Кругом лагеря гремело в воздухе, жужжало, крутились белыми бабочками листовки, я сидел под яблоней, неподалеку обливаясь кровью лежал узник, осколок попал в голову и снял черепную коробку... Это было мгновение... Что-то прошумело над самой головой, и я с испуга согнувшись

клубком выскочил из-под яблони и понесся неизвестно куда, перелез через ограду и скрылся в буковом лесу, у свинофермы на северном склоне лагеря. Над лагерем черными столбами стоял дым, вплоть до облака, которая откуда-то надвигалась в эти минуты, бухало море огня. Горели строения ДНВ, горел Гуслав, горела баня лагеря, огненные языки лизали здание новой кухни. Бешено выли собаки в городке, приближался вечер. К ревиру начали нести первых раненых или пострадавших от бомбардировки. Приходя люди из ворот говорили о тамошних делах.

[Л.41] Поздно вечером, когда дотлели головешки бани и кухни, нас пустили в бараки, изголодавшиеся, но уставшие люди где кто упал укладывались спать. Утром 25 Бухенвальд горел, как и вчера, море огня стояло над лагерем. Едкий дым плыл низко над крышами, свежий восточный ветер нес пепел, вонь из Густловверка, а за воротами – что ни делалось там. В обед попал и я за ворота подбирать раненых. Из политического отдела остались одни головешки, дом коменданта лагеря расколот пополам, только одна стена свидетельствовала о недавнем прошлом.

По лесу рвались зажигательные мины и фосфорные бомбы, дым и угар стояли вокруг. Валялись трупы изуродованных людей в обгоревших мундирах, трудно было узнать кто чей. В зеленых френчах с широко раскрытыми глазами, с полураскрытыми устами лежали четыре эсесовца-бандита, стражи лагеря, неумолимая смерть настигла и их.

Орла снесло с пьедестала, разбило в щепки будку постов, за вторыми воротами. Сравнило с землей первую галь Гуловверки. На поле поставили рельсы, вверх колесами стояли площадки, пригнанные с разными частями к фау-минам. На месте сборочного цеха торчали порванные штабы железных рельс, а там, где стояли первые детища смерти, глубиной более 30 метров в диаметре уши. Все поле тлело. Несмотря на то, что ночью прошел дождь. Шахматическим порядком [Л.42] миновали воронки от бомб, дождевая вода нашла убежище в них. К вечеру из Веймара пришел первый поезд, привезли хлеб и жиры.

Бомбами порвало водопроводную сеть, лагерь жил без воды. А по дорогам к лагерю сбегались уцелевшие люди, чтобы найти убежище, уцелеть от голодной смерти в лесах.

Во многих блоках не досчитывались много товарищей, возле и во дворе крематория росла куча тел, изуродованных человеческих трупов. Почти рядом с арестантами росла такая, а может и большая куча черных, зеленых мундиров – это были те, кто охранял законы и порядки лагеря. Это были безобразные и мерзкие собаки, которых не забудет никогда народ, это были немецкие разбойники коричневого арийского людоеда из гимлеровских отрядов СС.

Утро 27 августа, задымел крематорий, и прожорливые печи начали глотать несчастные жертвы. Над трубой стоял столб огня... Фашисты заматали следы, ведь они виноваты во всем, они строили на костях человечества свои заводы, им и платилась за это, но война не разбирает.

Протяжно, тоскливо выла сирена в этот день в Берлине, по дороге смерти шли новые и новые эскадры мстителей, забыв обо всем и радостно, и

тепло становилось на сердце. Каждый грезил, мечтал – чем больше бомб, тем скорее конец тяжким скитаниям на чужбине, среди озверевшего фашистского нацизма.

27 вечером состоялась первая поверка. Убитых было около 350 человек, пропавших без вести 175 и потерпевших более 1300 человек.

[Л.43] Все больницы лагеря были завалены ранеными. Закрыли барак, сделали из него больницу, а несчастных невольниц заставили работать медсестрами у раненых.

28 августа день, как и все дни, прошел в большом напряжении. Вокруг лагеря сновали усиленные патрули штурмовиков из эсэсовских дивизий ДОА, в зарослях леса, разинув чёрные пашки своих орудий, стояли танки арийских предателей.

В лагере начались аресты. Забрали более 12 человек, видных деятелей Бухенвальдского подполья, без вести пропал лагерный за воротами, доходят слухи, что убили коменданта Гюста, но нас мало что интересует, нас интересует, что будет завтра. Вечером, возвращаясь с апелю, кто-то неожиданно взглянул на крематорий и ахнул, красный с флаг трепетал над воротами, а над трубой стоял четырехметровый столб пламени и, казалось, все небо краснело от человеческой крови, залившей эту проклятую гору.

На блоке кто-то сказал: «Сегодня, товарищи, памятный день». Но его никто не захотел слушать, все ждали чего-то, словно бича, и все бросились в постель и уходили в забвение. Утром над лагерем военнопленных кто-то поднял красный флаг с черной каймой. Такой же флаг возвышался на телеграфном столбе в лагере югославов. И вдруг все заговорили, каждый проповедовал свое. Из отрывков фраз можно было установить, что случилось нечто великое. А что. Понимаем.

[Л.44] Знали о действительной бомбардировке, которая была 26 августа, и видели влиятельный рост коммунистов на восточном фронте, напуганные июльскими событиями 1944 года нацисты решили предательски убить вождя коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана. 28 августа суд и расправа были совершены с арийской точностью в застенках Бухенвальда, а к вечеру труп Тельмана и его товарища Эрика были сожжены в Бухенвальдском крематории. Газеты известили о смерти, коротко и просто – погиб 28 августа во время бомбардировки, но ведь действительно ли это так – никто не знает, а верить тяжело, ведь нацисты столько делали мерзких дел, что наверняка им никто не поверил.

30 августа наконец-то дали в лагерь воду, жизнь начала налаживаться, но не совсем. На западе где-то за Рейном гремели жестокие бои за расширение плацдармов, умирал в предсмертных судорогах Аахен, а на востоке гремели залпы красных катюш в венгерских домиках за рекой Тиссой, над Дунаем. Свободно вздохнули полной грудью София, Белгород (Белград) и Бухарест.

Армия союзников наступала на восток. Начинается большое наступление на восток. Все теснее и теснее затягивается петля на шее у арийского волка. Один за другим падают арийские дивизии на восточном

фронте. Свободно полной грудью вздохнули Львов, Каунас, Таллин. Отрезанные в Прибалтике фрицы ожидают своего конца. А мы с каждым днем ждем освобождения из немецкого рабства.

6.06.1946 года.

№9454. Нирта – Полтавец.